**МОЯ ЯПОНИЯ**

Мне было… около девяти. Брату, соответственно, одиннадцать-
двенадцать.

На соседней улице, в доме у старой березы, поселилась необычная семья – мужчина, женщина, старуха и мальчик. Все они – кроме старухи – были стройны, смуглы, жилисты, и у всех вместо глаз были узкие щелочки – и непонятно было, как они вообще что-то могут через эти щелочки видеть.

Прошел слух о том, что под старой березой поселились японцы.

Я был в восторге. Из иностранцев во всей округе были одни цыгане –
крикливые и неряшливые – и семья белорусов, ничем не отличавшаяся от своих соседей.

Япония… Как только я услышал о японцах, я побежал на соседнюю улицу и издалека увидел мальчика. Он сидел на крыльце и читал. Возрастом он был ровесник моему брату. Я подкрался поближе, он поднял голову и внимательно посмотрел на меня.

Я сделал вид, что прогуливаюсь.

Настоящий японец! Настоящий живой японец сидит на крыльце под старой березой, читает книгу и болтает ногами в тапках!

Мальчика звали Ша Ди. Это мне тем же вечером сообщил брат, а откуда он узнал – понятия не имею.

Я спросил:

– А он правда японец?

Брат почесал макушку.

– Судя по всему, да.

У меня дыхание перехватило.

На улице только и разговору было что про японцев. Меня еще не брали в компанию брата, и приходилось якшаться с малышней, но и малышня, и даже девчонки – все обсуждали одно и то же.

А Лёха, футболист и задира, даже набрался смелости и окликнул Ша Ди, бредущего по тротуару:

– Эй!

Ша Ди обернулся.

– Ты японец?

Мальчик помолчал, глядя на нас своими глазками-щелочками, коротко кивнул. И пошел себе дальше.

Первое время он держался особняком – ни с кем не играл, на нашу улицу не ходил, сидел на своем крыльце или карабкался по березе.

Из нашего двора, если залезть на крышу сарая, было видно ту березу –
и много раз я видел на ней, высоко-высоко, ловкую темную фигурку. Я вспоминал таинственное искусство ниндзя – японское, – и у меня холодели пальцы.

Как-то раз мы столкнулись с ним – в прямом смысле столкнулись. Я шел, уткнувшись носом в спичечный коробок, в который только что заточил жука-пискуна, и теперь смотрел, как он высовывает лапки в щель, – и толкнул в плечо шедшего мне навстречу Ша Ди. Он остановился. Я тоже – в ужасе. Он внимательно посмотрел на меня, медленно развернулся и удалился, не сказав ни слова.

Жук как-то ухитрился вылезти из коробка, сиганул на тротуар и был таков.

В нашем книжном шкафу я разыскал толстенную энциклопедию «Народы мира» – старую, истертую по углам, – и в ней целая глава была посвящена Японии.

Я вытаскивал энциклопедию, садился тут же, в уголке, на полу, прислоняясь спиной к шкафу, – и читал. По сто раз перечитывал дивные слова: «самураи», «сёгун», «бусидо», названия островов и деревень, – и от каждого слова на меня веяло чем-то страшным и сладким. А что уж говорить про картинки! Фигуры в причудливых одеждах, с перекошенными лицами, с мечами, вскинутыми над головой – и с глазами-щелочками! – тусклые пейзажики, горы и реки, и повсюду – дивные, удивительные, невыразимые! – иероглифы!

Я выбрал самый таинственный иероглиф и за два дня научился его рисовать. Я вывел его на обоях у самой моей подушки – да так, чтобы увидеть его можно было только прижав матрас рукой – и перед сном подолгу его разглядывал.

Ша Ди тем временем стал захаживать на нашу улицу и уже несколько раз гонял с мальчишками мяч. Брат тоже играл – а меня не брали.

Когда футболист Лёха выбил мяч из-под ног Ша Ди, тот воскликнул что-то по-японски. Лёха, который ничего в этой жизни не боялся, обернулся, – и я увидел, что лицо у него бледное.

Со временем Ша Ди стал приходить чаще. Играл или сидел вместе со всеми на соседском крыльце. Разговаривал он мало, все больше слушал – и внимательно смотрел через щелочки.

Однажды кто-то спросил его:

– А как там, в Японии?

Он помолчал, посмотрел вдаль и коротко ответил:

– Красиво.

Сказать лучше было нельзя. Все притихли.

А как-то раз брат пришел домой, нашел меня и сказал торжественно:

– Я был у японцев.

У меня дыхание перехватило.

– Дома?

– Дома.

И пошел себе на кухню.

Я – следом.

– Как так?

– Вот так.

– Ну как?

Брат устало вздохнул, открыл воду и сполоснул стакан.

– Бабуля японская пригласила.

Я вопросительно затряс головой.

– Ну что ты трясешься? Зашли за Ша Ди. А она и пригласила. Заходите, мол, чего на крыльце толпиться.

Я ахнул. Это же японское гостеприимство – целая традиция.

Брат шарил в холодильнике.

– А где сок?

– Я допил.

– Там полпачки было!

– Нет, чуть-чуть совсем.

Брат засопел и налил в стакан воды из чайника. Я ждал, пока он, громко глотая, пьет, а потом, когда он поставил стакан на стол, спросил:

– И как там?

– Где?

– У японцев.

Он пожал плечами.

– Чудно. Мы только в прихожей были – и комнату одним глазком видели. В прихожей – картинки всякие по стенам.

Я распахнул глаза.

– А в комнате – сплошные ковры. И мебели почти никакой.

– А что за картинки?

– Картинки?

– В прихожей.

– Ой, разные.

И брат вышел из кухни в коридор.

– Ну, расскажи!

– Да картинки как картинки. Ты мою кепку не видел?

– Нет. Что за картинки?

– Да что тебе! Это и не картинки даже – бронзовые такие штуки, типа той, что у деда в комнате. На одной – лучник, на другой – стадо какое-то, быки.

Я подпрыгнул.

– А горы? Горы были?

Брат почесал затылок.

– Горы? Кажется, были.

У меня сердце было готово выскочить из груди.

– А иероглифы? Были?

– Да что ты ко мне пристал! Сходи сам посмотри!

Он нахлобучил на голову валявшуюся за тумбочкой кепку, хлопнул дверью и вышел.

Я побежал в комнату к деду. Там, между окном и шкафом, висела на стене бронзовая картина. На ней была изображена грустная девушка в длинном платье. Длинные распущенные волосы падали ей на плечи, а глаза были то ли закрыты, то ли прикрыты – то ли она смотрела вниз, то ли…

Я ахнул. Это была форменная японка.

Когда дед притопал с рыбалки, бережно спрятал удочки под свою кровать и со вздохом опустился в кресло, я пристал к нему с расспросами.

– Дед.

– Чего?

– Это у тебя откуда?

И я показал на бронзовую картину.

Дед почесал бороду.

– Не помню.

– Ну, дед!

– Чего?

– Вспомни!

Он снова почесал бороду.

– Привез кто-то.

– Откуда?

– Да не помню я! Подай книгу.

Я дотянулся до полки. Дед всегда читал одну и ту же книгу – перечитывал по сто раз.

– Вот! – Потряс книгой дед. – Вот книга! А не это ваше.

Он послюнявил пальцы и долго листал, выискивая нужную страницу. Потом прочистил горло и прочел, торжественно растягивая слова:

– Каждый раз, когда объясняешь дорогу, будто снова проходишь по ней, по всем этим привольным местам, по лесным проселкам, усеянным цветами бессмертника, и снова испытываешь легкость на душе!

Я знал, что он сейчас станет читать и через десять-пятнадцать минут уснет в кресле. Поэтому я снова к нему пристал:

– Дед, ну вспомни!

– Что?

Я показал на грустную японку.

Дед внимательно посмотрел на меня.

– Шел бы ты гулять, – сказал он сурово. – Сказал не помню – значит не помню.

И я пошел гулять. Я прошелся до Хуторской, проверил шалаш в зарослях крыжовника – цел, – потом вернулся к дому, залез на гараж. С гаража было видно верхушку старой березы. Теплый августовский день медленно оборачивался теплым августовским вечером, все было залито мягким золотым светом. Я спрыгнул с гаража в кучу песка, вышел с нашей улицы и направился на соседнюю.

Старая береза была самым высоким деревом в округе, ее тень широким полотнищем ложилась поперек улицы.

Дом японцев был совсем обыкновенным – и вы никогда не угадали бы, что именно в нем живут японцы, – но мне даже он теперь казался особенным, что-то было в изгибе его крыши – какая-то она была острая, острее остальных крыш, – и крыльцо было не такое, как у всех, как будто изящнее, тоньше. И палисадник с сиренью казался совсем нездешним. Я не знал, растет ли в Японии сирень, но был уверен, что расти она там, японские палисадники выглядели бы именно так, как этот.

На улице было пустынно и тихо. Я подошел к старой березе, запрокинул голову, разглядывая взмывающий вверх ствол. Потом медленно подкрался к палисаднику, привстал на носки, постарался увидеть что-то в темных японских окнах. Окна были задернуты шторами.

Тогда я осторожно приоткрыл калитку и ступил в палисадник. Сделал шаг, другой – и скрипнул нижней ступенькой японского крыльца. Сердце у меня загрохотало. Я взялся рукой за деревянное перильце, поднялся еще на две ступени и оказался на крыльце.

И тут я услышал шаги за дверью. Я пулей слетел по ступеням, вынырнул из палисадника и застыл.

На крыльце стояла японская старуха.

Она была одета в длинный халат – кимоно! – и в руках держала какую-то ступку. У нее были белые, собранные в пучок волосы и желтое лицо, похожее на сморщенное яблоко. Роста она была совсем махонького, вся сгорбленная, согнутая.

Она посмотрела на меня через свои щелочки.

– Здравствуйте, – промямлил я.

– Здравствуй, – скрипнула она, и лицо ее расплылось в улыбке.

Я не знал, что еще сказать. И старуха молчала.

Наконец, она проскрипела:

– Ты, наверное, друг Ша Ди?

Друг! Друг японца! Возможно ли такое?

Я как-то косо мотнул головой – по диагонали.

– Он убежал куда-то, – пояснила старуха.

И добавила:

– Такой непоседа стал.

Я снова дернул головой.

– Может быть, подождешь его? – и она кивнула на дверь. – Чаю выпьешь?

У меня душа ушла в пятки.

– Н-нет, спасибо, – пробормотал я, заикаясь. – Мне это… мне домой надо.

Она пожала плечами и снова улыбнулась.

– Как скажешь, – сказала она. – Я передам Ша Ди, что ты приходил. Как тебя зовут?

– Руслан, – соврал я.

Она кивнула.

Я все стоял на месте. Она молча смотрела на меня и улыбалась.

– До свидания, – сказал я.

– До свидания.

Я, не оборачиваясь, сделал шаг назад и попал в тень от березы.

– До свидания, – повторил я.

Японская старуха помахала мне желтой сморщенной ладошкой.

Я медленно развернулся и пошел по улице, чувствуя на себе внимательный взгляд. Она как пить дать меня раскусила – не такие эти японцы простаки, чтобы их дурачить.

Когда я вернулся, дед спал в кресле, раскрытая книга лежала у него на груди. Я на цыпочках прокрался к грустной японке и уставился на нее.

Золотой предзакатный свет расчерчивал комнату пополам и золотыми прямоугольниками падал на картину. Волосы у японки сияли, сияли складки рукавов, тонкие ладони, сложенные на коленях. Лицо у нее было грустное-грустное.

«О чем она грустит?» – думал я.

Я присел на краешек дедовой кровати и стал гадать, о чем же она грустит? Выходило, что она грустит о своем возлюбленном, которому пришлось уехать на войну. В Японии – я читал – войны велись постоянно, провинция воевала с провинцией, клан с кланом.

Может быть, ее возлюбленный – тот самый лучник, которого видел мой брат?

Складывалась целая история.

Японец и японка. Женятся. Играют свадьбу. Но вдруг – война. Она просит его остаться. Но у него – кодекс чести. Он снимает со стены лук, колчан со стрелами. Седлает коня. Она плачет. Он обнимает ее. Он сам вот-вот заплачет, но – кодекс чести. Он запрыгивает на коня, конь летит вихрем. Она долго смотрит вслед, но из-за слез даль плывет, тает. Японский ветер гладит ее волосы, утешая.

История получалась что надо. Я пересел с краешка кровати в центр и прислонился спиной к ковру, закрывающему стену.

Японец воюет. Ночует в поле, на голой земле. Дежурит у костра, пока товарищи спят. Со свистом выпускает стрелу за стрелой. Он уже дважды был ранен – но для него это пустяки. Японка ждет его – печаль не сходит с ее лица, вечерами она выходит из дому и сидит, сложив ладони на коленях. Она смотрит вдаль и ждет – не покажется ли на горизонте всадник.

Над серебряными горами плывут облака, в низинах стелется голубой туман. Вишня роняет белые лепестки, ветер подхватывает их и несет к дому японки. Но до цветов ли ей сейчас? Из-за гор показывается луна – бледная, тревожная, и японке чудится, что луна, только луна, может сейчас ее понять.

Меня разбудил дед.

– Вставай, малый, – кряхтел он, сжимая мое плечо. – Разоспались мы с тобой.

В комнате было совсем темно, голубело сумерками окно, в дверном проеме спотыкался свет из столовой.

Я заканючил, пополз в угол, поджимая ноги к животу – не хотел вставать.

Дед возмутился, но потом махнул рукой, накинул на меня плед и уковылял.

С того дня брат стал частенько бывать у Ша Ди – всей ватагой у него рассиживались. А меня не брали.

Да я и не порывался – вскроется, что я зачем-то врал гостеприимной японской бабуле; а то вдруг окажется, что она видела, как я по их палисаднику лазал.

Поэтому я только приставал к брату с расспросами – что да как?

Брат у меня – человек сложный. Сегодня добряк, рот не закрывается, завтра – сидит букой, и слова из него не вытянешь. Но он видел, что я ему завидую, – и поэтому чаще всего был рад похвастаться.

– Бабуля у него, – говорил он, – во! Чисто японское гостеприимство.

Он тоже загорелся Японией, все руки исписал иероглифами из моей энциклопедии – вкривь и вкось, – разучивал боевые стойки и даже отрыл где-то загадочную книгу, на обложке которой было написано:

«Хагакурэ».

Это было что-то вроде того самого кодекса, из-за которого мой лучник не мог остаться с возлюбленной.

Книга была старая, потрепанная, кое-какие листы были выдраны с корнем. Брат сунул мне ее и сказал:

– Сегодня можешь читать. Завтра – возвращаю.

Дело было вечером. Сам он ее уже проштудировал – оказалось, он взял ее неделю назад.

Я обиделся на него, но от чтения не отказался. Убежал в кухню, устроился за столом.

Книга оказалась такая жуткая, что у меня волосы на голове шевелились. Я никогда еще не встречал в тексте столько насилия. Японские мужчины только и делали, что рубили друг другу головы.

На кухню зашел отец.

– Ты чего тут сидишь?

– Читаю.

– Что читаешь?

Он взял книгу, пробежался глазами по одной странице, по другой – и посмотрел на меня.

– Ты где это взял?

Кодекс чести не позволял выдавать брата, но другого выхода у меня не было.

Брату влетело, и он с великим трудом выклянчил у отца «Хагакурэ» –
с тем, чтобы тут же, в ночь, унести книгу хозяину.

Вернувшись, он сказал мне:

– В самураи тебе путь заказан.

Он ничего не смыслил в самурайских делах, но мне стало обидно. Я ушел в комнату деда – тот уже спал, под одеялом, лицом к стене, – устроился в кресле и долго смотрел на грустную японку, по волосам которой плыли серебряные блики.

Но, кажется, брат понимал, что ничего другого я отцу сказать не мог, и уже наутро мы общались как ни в чем не бывало, а к вечеру, после очередного визита к японцам, он подошел ко мне и вынул из кармана сухой белый шарик.

– Держи, – сказал он.

Я посмотрел с опаской.

– Что это?

– Держи, балда! Национальное японское блюдо! Я со стола немного утащил – для тебя.

Он взял мою ладонь и положил в нее шарик. Я наклонился и понюхал – пахло странно.

– Что это такое? – переспросил я.

– Говорю же тебе!

Я покатал шарик в ладони.

– И как это есть?

– Как хочешь!

Я вспомнил, что японцы едят исключительно палочками.

– Взял бы и палочки тогда, – сказал я.

Брат помотал головой.

– Нет у них палочек.

– Как так?

– Вот так.

– А чем они едят?

– Вилками.

Я вздохнул. Это бросало тень на наших японцев. Я бы на их месте даже пил палочками.

Я уперся – не буду есть вилками! – мы долго думали, а потом побежали во двор и сковырнули с сирени несколько веточек. Веточки были неровные, узловатые, не очень крепкие, но ничего более подходящего нам в голову не пришло.

На кухне я достал чайное блюдце и выложил на него шарик.

– Погоди, – сказал брат, – давай тогда уж по всем правилам.

Он юркнул в коридор, приволок коробку из-под обуви, поставил на пол посреди кухни и скомандовал:

– Садись.

Я опешил.

– На коробку?

Брат закатил глаза.

– На пол!

Я медленно опустился на корточки.

– Они что, на полу сидят?

Брат взял блюдце с шариком и поставил на коробку. Сам сел напротив меня.

– Нет, не на полу. У них – такие маленькие табуреточки, крошечные.

Я кивнул.

– А столики, – продолжал он, – тоже – низенькие совсем. Чисто Япония.

Я ликовал.

– Ну, – он показал на шарик, – давай.

– А ты?

– Я пас. Я там у них этого добра объелся. От него пить хочется.

Я вздохнул. Поджал под себя ноги. Выбрал две веточки постройней, кое-как пристроил их между пальцами.

Но схватить шарик никак не удавалось. Я пробовал и так, и сяк, катал его по блюдцу, один раз столкнул на коробку, и он даже начал крошиться.

– Бери руками, – говорил брат нетерпеливо, – хватить мучиться.

А я чуть не плакал – до того мне хотелось все сделать по правилам.
В конце концов, я сложил веточки на манер рельс, закатил на них шарик и, придерживая второй рукой, сунул в рот.

Вкус был странный – кисло-соленый, вязкий. Во рту шарик рассыпался на множество сухих мелких катышков, и каждый из них приходилось раскусывать по отдельности. Я жевал и не знал, нравится мне то, что я жую, или нет.

Я закрыл глаза и представил себя лучником, сидящим у костра. Шуршит от ветра высокая трава. В подножия скал бьются отчаянно волны, рассыпаются пеной. Встают рядами горные хребты, надевая белые снежные шлемы. У моих ног – верный лук, резной колчан. Потрескивает в ночи костер. В моей руке палочки, по ним бежит вязь иероглифов.

В жизни не ел ничего вкуснее.

Зашел дед.

– Бастуете?

Мы встали с пола.

Дед посмотрел на нас, на коробку, на блюдце, на веточки в моей руке. Крякнул, полез в хлебницу.

Мы пошли во двор.

– Что скажешь? – спрашивал брат.

– Япония, – отвечал я с придыханием.

– Да.

Мы залезли на сарай. Осень была на носу, и вечера были уже не такие теплые – но такие же ясные, и все тот же золотой свет ложился на округу. А воздух даже казался прозрачнее.

Старая береза покачивала макушкой.

– Вот, – говорил брат, – а они такое каждый день едят.

Я кивал.

– И чаю пьют немерено. Кружка за кружкой.

Я кивал.

– А что его родители? – спрашивал я.

Брат чесал затылок.

– Да они на работе все время, нас бабуля угощает.

Во все стороны разбегались вереницами золотые крыши. Небо было глубокое, стеклянное, по нему скользили перья облаков.

– А еще? Что еще видел? – спрашивал я.

– Еще? Не знаю даже.

– Ну… Ну… Мечи, может, видел?

– Мечи? Нет, мечей не видел.

Я вздыхал.

– Может, у них и нет.

– Есть, – уверенно говорил брат. – Ша Ди рассказывал, что есть.

У меня сердце екало.

– Только ему отец запрещает его показывать.

Я кивал:

– Понимаю.

Конечно. Все верно. Это очень по-японски.

Соседская собака высунула нос из конуры. Понюхала воздух, вылезла. Села посреди двора, почесалась, посмотрела на нас, полезла обратно.

– А про Японию рассказывал?

Брат кивнул.

– Рассказывал. Только очень мало. Какая-то темная там история, давно уехали.

У меня сердце загремело. Я сразу понял, что дело в войне между кланами, но брату говорить не стал.

– Рассказывал, что отец его – самурай в каком-то там поколении. Пятом или седьмом. Что у него там – история какая-то.

Я смотрел вдаль и молчал. Я все понимал.

– Ну, отец у него и правда суровый мужик. Так вроде улыбчивый, то да се, а то вдруг как зыркнет – мороз по коже. И молчаливый.

«Да, – думал я. – Так все и есть».

По небу рассыпалась черными крючками птичья стая. Слева, из глубины, проступила молчаливо половинка луны.

Казалось, что луну кто-то рассек мечом надвое.

– Смотри, – прошипел брат и ткнул меня локтем.

По старой березе карабкалась темная фигурка.

Мы замерли.

Ша Ди в мгновение ока оказался у самой верхушки. Там он тоже замер.

Увидел нас?

– Он не признается, – сказал брат, – но я уверен, что он умеет что-то эдакое.

Я кивнул. Точно умеет, вне всякого сомнения.

На следующее утро я упросил отца раздобыть мне книги о Японии –
и он привез из библиотеки целую кипу. Я засел за чтение – днями не выходил из комнаты. Наступил сентябрь, с ним – школа, но я и в школу умудрялся таскать том за томом.

Ша Ди научил брата нескольким японским фразам – и брат через каждые два русских предложения вставлял одно японское.

Даже дед отложил свою бессменную книгу и засыпал теперь с мемуарами какого-то японца на груди.

Сентябрь выдался прекрасный – огненный, теплый. Клены на нашей улице пылали багрянцем, а старая береза казалась бронзовой. Волосы печальной японки струились золотом, черты ее разгладились, и мне думалось, что она, наверное, получила от лучника письмо – и в письме говорилось, что все хорошо, что война на исходе, что еще немного – и настанет время долгожданной встречи.

А потом вдруг брат перестал бывать у Ша Ди. И не только брат – вообще все. И Ша Ди перестал приходить на нашу улицу и больше не гонял по пыльной дороге мяч. Теперь его можно было увидеть только вечером – сидящим на старой березе, – а где он пропадал все остальное время, я не знал.

Это произошло как-то разом, в один день – и брат говорил мне, что Ша Ди поступил ужасно и что теперь с ним нельзя общаться.

И все – никаких деталей.

Но я сразу все понял. Я вспомнил «Хагакурэ», жестокость самураев, их решимость идти до конца – и все понял. И я не стал допытываться – кодекс чести говорил мне, что надо довольствоваться тем, что имеешь, а придет время – откроется и остальное.

И почти до конца октября я хранил молчание – и ни с кем не обсуждал Ша Ди. Я знал, что тут замешано что-то очень самурайское, и не хотел потерять лицо. Я ходил в школу, продолжал читать про Японию и записался в секцию айкидо, которая должна была открыться в январе.

Вечерами я с крыши сарая смотрел, как Ша Ди сидит на старой березе. Он сидел, не шевелясь, глядя на закат – до тех пор, пока сумерки не окутывали березу и его фигурка не сливалась с ветвями.

Тогда он кошкой соскальзывал вниз, а за ним и я – не так ловко, по-черепашьи – сползал во двор, цепляясь за бельевую веревку.

А потом японцы уехали. Ранним утром у старой березы затарахтела грузовая машина, водитель помог отцу семейства погрузить в кузов скудную мебель, рулоны ковров, картонные коробки – вся семья, включая сгорбленную японскую старуху, влезла в кабину, а Ша Ди прыгнул в кузов и остался сидеть там.

Об этом мне рассказал, придя из школы, брат – он в тот день выходил раньше и все видел.

Тут уж я не вытерпел. Я нарушил свое молчание. Я больше не мог сохранять лицо. Я выслушал брата и дрожащим голосом воскликнул:

– Что же случилось?

Брат долго смотрел на меня – молча. Потом он оглянулся и шепнул:

– Во двор.

И он вышел.

Я вернул на полку путеводитель по острову Хонсю и побежал за ним.

Брат ждал меня под яблоней, с той стороны теплицы, в самом укромном уголке двора.

Стоял серый неприветливый день. Холодный ветер ворошил пожухлую листву, трепал полиэтиленовую кожу теплицы.

Брат снова оглянулся по сторонам и зашептал:

– Это все из-за его отца. Его обнаружили, и оставаться здесь означало бы подвергать опасности всех.

На слове «всех» он сделал ударение.

Я все понял. Я, наверное, сразу догадался – и теперь понял, что сразу догадался. Конечно. Жизнь такого человека не может быть обычной жизнью – это вечные странствия с мечом наперевес. Опасности, риск, предательство.

Я все понял.

Я посмотрел на брата так, что он понял – я все понял. Не надо ничего говорить, добрый брат, я все понял.

Я положил руку ему на плечо. Он кивнул.

Как хорошо иметь брата!

И я восстановил свое молчание. Я облекся в молчание, как в доспехи. Молчание было моими доспехами, а зоркость была моим мечом. В ту неделю я несколько раз видел странных, подозрительных людей, расхаживающих по нашим улицам.

Я все понимал. Я не спускал с них глаз, следил за каждым их движением, всегда был начеку – и все понимал.

На побережье моего сознания возвышался темным утесом вопрос – что же сделал Ша Ди тогда? Переезд – я понимал. Что это был за «ужасный поступок», после которого никто не решался подойти к нему? Этого я не понимал. Но я хранил молчание – и волны моего сознания истерли в песок тревожащий меня утес.

Моя память поглотила его, как морская пучина поглощает обломки разбитого судна.

С января я пошел в секцию айкидо – и нас учили, как безболезненно падать. Я прочел все книги о Японии, которые достал отец, и чувствовал себя так, как чувствует себя мост, соединяющий два берега.

Лишь один раз любопытство взяло верх – и я совершил безрассудный поступок.

Дом Ша Ди почти сразу заняла какая-то молодая пара – они постоянно куда-то уезжали и не возвращались по два-три дня. И однажды, в конце января, я не справился с собой и, увидев, что машины перед домом нет и что свет в окнах не горит, я перелез через забор. И оказался во дворе Ша Ди.

Тут все было занесено снегом. На низеньком грушевом дереве висела изящная кормушка для птиц – я сразу понял, что она осталась от японцев. Я стал красться по двору, проваливаясь по колено.

Вот веранда. На ней японцы пили чай.

Вот накрытая гигантским сугробом клумба. Здесь росли какие-то удивительные цветы.

Ветер подхватывал их лепестки и нес на веранду.

Впервые я видел старую березу с такого ракурса – она возвышалась над домом, над двором, над миром – как маяк.

И вдруг меня пронзила мысль – что если лучник остался? Ведь осталась же кормушка!

И я двинулся к широкому темному окну.

В этот момент что-то скрипнуло, и на веранде оказалась девушка в длинном вязаном свитере.

Она была очень красива. Черные волосы падали на плечи, лицо было задумчиво. Длинными белыми пальцами она перебирала какую-то книжицу.

Увидев меня, она остолбенела. Глаза ее распахнулись.

– Ты что здесь делаешь?

Я метнулся к забору и в один миг перемахнул через него.

Я побежал в другую сторону – не к дому – чтобы запутать след.
И, кажется, мне это удалось. После я не раз встречал ее на улице – она даже не смотрела на меня. Вероятно, она не запомнила мое лицо.

Тогда же, пропетляв по району зигзагами, я ввалился домой и долго сидел в комнате деда – смотрел на грустную японку.

Дед читал свою книгу – и все порывался читать вслух – мне, – но со второй страницы начинал сбиваться, путать слова и клевать носом.

Айкидо я бросил – несколько раз меня безболезненно, но обидно уронили на соревнованиях, и я ушел.

И Япония забылась. Без новых книг мое увлечение стало бледнеть, истончаться – и, наконец, через какой-нибудь год рассеялось, как облачко тумана. Я перестал хранить молчание, держать лицо – и стал обычным болтливым мальчишкой.

«Японский» период моей жизни теперь казался сном – витиеватым, непонятным, фантастическим сном.

И тогда из пучины моей памяти восстал мрачный утес: меня снова стал мучить вопрос, который прежде был замурован в самурайскую тайну.

Что же все-таки сделал Ша Ди?

Доспехи были сброшены – и я осадил брата. Он долго отнекивался, отшучивался, делал страшное лицо, озирался, но потом сдался и все рассказал.

Он посмотрел мне в глаза и все рассказал.

Оказалось, что Ша Ди не был японцем.

И отец Ша Ди не был японцем.

И мать Ша Ди, и бабушка – японками не были.

Это была обыкновенная казахская семья, из тех, что во множестве переезжали с места на место в то время – из города в город, из области в область, нигде отчего-то не задерживаясь надолго. И переезды их, конечно, не были связаны ни с кланами, ни с мечами, ни с предательством. Никаких сегунов, вассалов и провинций. Милая казахская семья, которая переехала к нам, а потом переехала от нас.

Вскрылось это как-то нелепо – отец Ша Ди пришел домой раньше обычного и вдруг, против обыкновения, сел за стол с друзьями сына. И против обыкновения разговорился – и заговорил вдруг про какой-то Казахстан, какую-то степь, какие-то стада.

И оказалось, что имя Ша Ди – вовсе не Ша Ди, а Шади, и означает оно «весельчак», или «шутник», или что-то вроде того.

Так развеялась легенда. Разом упорхнула, точно птица, захлопав крыльями.

А я даже не расстроился.

Я даже рассмеялся.

И до сих пор, вспоминая все это, смеюсь.

Напомню, я стал обычным мальчишкой, а мальчишки очень любят хорошенько посмеяться.

А спустя еще какое-то время я обнаружил на месте растаявшей тайны новую, осязаемую, доселе незамеченную. Она мерцала и переливалась в лучах осеннего солнца. Тайна заключалась в том, что брат почему-то так долго скрывал от меня суть «ужасного поступка» и даже оберегал от нее, поддерживая во мне веру во все эти японские штуки.

Я не спрашивал его о причинах такого поведения. Я все понял. Как только я взял в руки эту – настоящую – тайну, как только прокатил ее по ладони, я понял.

Я понял, что он всего-навсего не хотел меня разочаровывать. Вот так. Так просто и так сложно.

В одной из книг о японских стихах было сказано: «так просто и так сложно»; мне понравилась эта формула, и я ее запомнил.

Как хорошо иметь брата!